

КРИСТИНА СОЛЬ

A movie poster featuring a woman in a medieval setting. She has long dark hair and is wearing a grey tunic with a light-colored apron. Her hands are covered in blood as she washes a cloth in a wooden bowl. In the background, a man with a beard and a fur cloak stands looking out over a snowy landscape. To the left, a village is on fire. To the right, a Viking longship is on the water. The scene is set in a valley with snow-capped mountains under a cloudy sky. Various medieval items like a lantern, a bottle, and herbs are in the foreground.

ЛЕКАРКА ДЛЯ БЕРСЕРКА



Кристина Соль

Лекарка для берсерка

«Автор»

2026

Соль К.

Лекарка для берсерка / К. Соль — «Автор», 2026

Военный хирург Елена Соколова летела домой после третьей ротации. Самолёт упал в горах. Она очнулась в чужом теле, на снегу, посреди деревни, которую только что сожгли. Вокруг раненые, дым и женщины, которые вместо помощи причитают над умирающими. Елена делает единственное, что умеет: встаёт и начинает работать. К вечеру она вскрывает грудь задыхающемуся воину, и деревня решает, что новая знахарка умеет выпускать из людей смерть. На самом деле у неё нет ни лекарств, ни инструментов — только кипяток, чистое полотно и тринадцать лет практики. А через двенадцать дней в фьорд войдут четыре корабля ярла Торкеля. Ей придётся научить викингов мыть руки, вытащить с того света берсерка, которого боится собственная деревня, и найти того, кто два года пишет письма врагу. Считать живых она умеет лучше всех. Хуже всего то, что в этом счёте есть и она сама.

© Соль К., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Катастрофа	5
Глава 2. Пациенты	9
Глава 3. Хельга	14
Глава 4. Тинг	18
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Кристина Соль

Лекарка для берсерка

Глава 1. Катастрофа

Самолёт начал падать в 11:14. Я запомнила время, потому что как раз смотрела на часы и считала, сколько осталось лететь: два часа сорок минут, из них половина над горами, а в горах, если что-то случится, садиться некуда.

Что-то случилось.

Сначала пропал звук правого двигателя. Никакого взрыва: просто из общего гула вычли одну ноту, и салон стал тише. Мужчина через проход оторвался от книги и посмотрел в иллюминатор, потому что все люди в такой момент смотрят в иллюминатор, как будто там написано объяснение. Потом самолёт мягко просел, и вот тогда закричали.

Я в это время думала о жгутах.

Профессиональная деформация после тринадцати лет и трёх ротаций: я не умею бояться в реальном времени. Страх приходит позже, дома, на кухне, через неделю, когда всё уже кончилось и можно. А в моменте включается другое. Двести восемьдесят человек на борту. Если мы сядем — жёстко, но сядем, — у меня будет от сорока до восьмидесяти раненых, преимущественно компрессионные переломы позвоночника и ЧМТ, из них двадцать процентов критических, и ни одного жгута, кроме ремней безопасности. Ремни как жгуты — плохо, но работают. Аптечка на борту рассчитана на обморок и порезанный палец. Я мысленно прошлась по своей ручной клади и вспомнила про перевязочный пакет, который таскала с собой из суеверия все три ротации и ни разу не открывала.

Маски выпали через полминуты. Соседка справа — женщина лет пятидесяти, в отпускной куртке, в очках — не смогла попасть в резинку, и я надела маску на неё, потом на себя, потом сказала ей наклониться и обхватить колени. Она послушалась. Люди в такие моменты очень послушные, если говорить с ними ровным голосом и в повелительном наклонении.

Нос опустился сильнее. В иллюминаторе перестало быть небо и стало белое — снег, склон, полосы леса на склоне, всё это быстро увеличивалось и шло вбок. Кто-то сзади начал молиться. Кто-то звонил, хотя звонить было уже некому и незачем.

Я успела подумать, что у меня в квартире в холодильнике только горчица и что маме позвонить я так и не собралась.

Дальше было белое.

Белое, как экран засвеченного снимка, и очень громко. Ни темноты, ни света в конце.

А потом холод. Холод пришёл первым, раньше зрения, раньше слуха. Мокрый, снизу — снег под коленями, снег на ладонях, вода уже прошла сквозь ткань до кожи. Второй пришёл запах: дым, но не костровый и не выхлопной, а густой, грязный, с примесью палёной шерсти и чего-то сладковатого, что я знаю слишком хорошо и никому не советую узнавать.

Третьим пришёл звук. Женский крик, длинный, на одной ноте, где-то слева, метрах в тридцати. И ниже, ближе — мужской хрип, ритмичный, с бульканьем на вдохе.

Я открыла глаза и увидела свои руки. Руки были не мои.

Мельче. Шире в ладони. Ногти коротко и криво срезаны, не подпилены. На подушечках — жёлтая застарелая мозоль от какого-то инструмента. На левом большом пальце нет шрама, который у меня с интернатуры, полтора сантиметра, скальпель, чужая невнимательность. И на безымянном нет светлой полосы от кольца, которое я сняла шесть лет назад и до сих пор чувствовала.

Я подняла руку к лицу. Скула другая. Волосы — толстая коса, тяжёлая, пахнет дымом и жиром. На мне серая шерсть в два слоя, поверх — что-то вроде фартука из грубого полотна, и на поясе висит кожаный мешок.

Мозг предложил три версии одновременно. Первая: я в реанимации, и это делирий на фоне гипоксии. Вторая: я умерла, и это то, что показывают потом. Третья годилась только для сериалов.

Хрип слева стал реже. Вот это меня и решило. Не логика, не паника — то, что человек в тридцати шагах от меня дышал с частотой около сорока и с явным препятствием на вдохе, и у него оставалось примерно столько же минут, сколько мне на размышления о природе происходящего.

Разберусь потом. Сначала работа. Я встала. Мир вокруг был снегом и водой. Узкая полоса берега, чёрная вода залива, стиснутая между двумя скальными стенами, — вода стояла неподвижно и отражала скалы так же чётко, как настоящие. Над водой висел низкий туман, и в тумане далеко, у поворота, угадывался силуэт с высоко задранным носом, длинный и узкий. По берегу тянулись длинные дома, покрытые дёрном, и три из них горели — уже не пламенем, а той стадией, когда огонь ушёл внутрь и наружу идёт только жирный дым.

Между домами лежали люди. Я насчитала девятых на земле и ещё десятка полтора на ногах — женщины, старики, двое подростков. Женщины ходили от тела к телу, поднимали головы, выли, тащили кого-то за руки в сторону дома. Один старик просто стоял и смотрел на воду.

Ни одного человека, который бы делал что-то полезное. Я знала, что увижу, ещё до того, как подошла ближе. Такая картинка одинаковая везде: в горах, в песке, в снегу. Разница только в одежде и в том, чем именно людей резали.

Первый, до кого я дошла, был мёртв. Молодой, лет двадцати, лежал на спине, руки раскинуты, под затылком натаяла и снова смёрзлась коричневая корка. Пульса на сонной не было, зрачки широкие, роговица уже подсохла. Я закрыла ему глаза, потому что так было надо, и пошла дальше.

Второй был жив и не нуждался во мне: рассечённое предплечье, кровь тёмная, идёт ровно, вена, не артерия. Он сидел, зажимал рану ладонью и смотрел на меня снизу вверх.

— Сигрид, — сказал он.

Я поняла это слово. И следующее — «помоги», — тоже поняла, хотя звучало оно совсем не так, как должно звучать слово «помоги». Понимание сидело в голове само по себе, отдельно от меня, готовым слоём, как будто кто-то заранее загрузил словарь и не спросил.

Ладно. Словарь есть. Претензий к комплектации не имею.

— Держи, — сказала я и надавила его же ладонью на рану сильнее. — Не отпускай. Ты не первый.

Он не понял слово «первый» в моём смысле и не должен был. Тriage — это система, а не слово. Система очень простая: сначала те, кто умрёт в ближайшие минуты, если ими заняться, и не умрёт, если заняться. Не те, кто громче кричит. Не те, кого больше жалко. Кричат обычно как раз те, у кого есть силы кричать.

Я пошла на хрип. Он лежал у стены горящего дома, на утопанном снегу, и над ним сидела на коленях пожилая женщина. Крепкая, широкая в кости, седые волосы под платком, руки в крови по локоть. Она прижимала к его боку комок шерсти и молилась — я не разбирала слов, но интонацию молитвы ни с чем не спутаешь.

— Отойди, — сказала я.

Она подняла голову. Глаза светлые, в сетке морщин, и умные — из тех глаз, которые сразу всё считывают и потом всю жизнь тебе это припоминают.

— Сигрид?

— Отойди, — повторила я и уже отодвигала её рукой.

Мужчина был лет тридцати, бородатый, в кожаной куртке с нашитыми пластинами. Куртку кто-то заботливо оставил на нём. Я разрешила завязки его же ножом, который вытащила у него из-за пояса, и развела края.

Рана в правой половине груди, между четвёртым и пятым ребром, узкая, колотая. Крови снаружи почти нет. Это никогда не хорошая новость.

Дальше пошло как по учебнику, и учебник мне не понравился. Губы серые, шея вздута, вены на ней стоят толстые и не спадают. Он тянет воздух ртом и не может дотянуть. Справа грудная клетка выше и не двигается, слева двигается за двоих. Я приложила ухо: справа тишина, слева работает. Постучала пальцами по рёбрам справа — гулко, как по бочке.

Напряжённый пневмоторакс. Воздух зашёл в плевральную полость через рану, обратно не выходит, с каждым вдохом его больше, лёгкое сложилось, средостение поехало влево, сейчас пережмёт полые вены — и всё, остановка на фоне сохранного сердца. Минуты три. Может, четыре.

В нормальной жизни: игла во второе межреберье, потом дренаж, потом рентген, потом чай.

Здесь у меня нож, снег и старуха с шерстью.

— Воду кипятить, — сказала я, не поворачиваясь. — Быстро. И чистое полотно, самое чистое, какое есть в деревне. И то, что вы пьёте на праздники, самое крепкое.

Старуха не двинулась.

— Он умирает, — сказала она. — Ему надо помолиться.

— Он умирает, потому что в нём воздух там, где не должно быть воздуха, — сказала я. — Молиться будешь после. Иди.

Я не собиралась объяснять и не собиралась ждать. Медлить сейчас — то же самое, что убить, только с более чистой совестью.

Нож был хороший: короткий, широкий, заточен человеком, который умеет точить. Я вытерла лезвие о его же рубаху — единственная антисептика, доступная мне в эту минуту, и я честно понимала её цену, — прошлась пальцами по рёбрам, нашла четвёртое, отсчитала до пятого, отступила по линии подмышки. Кожа под пальцами была холодная и мокрая.

Он смотрел на меня. Сознание ещё держалось, и от этого работать было вдвое труднее.

— Будет больно, — сказала я. — Три вдоха, и станет легче. Считай.

Он не понял ни слова. Он смотрел мне в лицо, и в его глазах была та особенная, очень взрослая покорность, которая бывает у людей, точно знающих, что сейчас умрут.

Я взяла его руку, положила себе на запястье и надавила его пальцами, чтобы он держал. Люди легче переносят, когда держатся.

Потом сделала разрез. Полтора сантиметра по верхнему краю ребра — по верхнему, потому что под нижним идут сосуды и нерв, и в снегу на берегу мне только артериального кровотечения не хватало. Он дёрнулся всем телом. Старуха, которая никуда не ушла, ахнула и начала говорить очень быстро.

Я вставила в разрез палец и прошла тупо через межрёберные мышцы, чувствуя, как ткань подаётся и расходится, а потом лопаётся тонкая плёнка.

Из раны с шипением пошёл воздух. Это очень характерный звук. Долгий, злой, как из проколотой камеры, и он длился секунды три, а может, четыре. Вместе с воздухом брызнула розовая пена и села мне на предплечье.

Мужчина сделал вдох.

Настоящий, полный, глубокий, первый за много минут. Вены на его шее опали. Правая половина груди пошла вниз и снова вверх. Серое с губ уходило на глазах, вползал нормальный человеческий цвет, и он вдохнул ещё раз, и ещё, и заплакал — не от боли, а от того, что дышит.

Я держала палец в ране, потому что если убрать, всё вернётся, и надо было ставить клапан.

— Полотно, — сказала я. — Сейчас.

Старуха вложила мне в руку кусок ткани раньше, чем я договорила. Не идеально чистый. Идеальных здесь нет.

Я сложила его в четыре слоя, оставила один край свободным и прижала так, чтобы на выдохе воздух выходил, а на вдохе ткань присасывалась и закрывала. Примитивно. Работало ещё в прошлом веке, работало на войне, работало сейчас. Потом придумаю лучше. Потом — это через час, если будет час.

И только тут я услышала тишину. На берегу перестали выть. Женщины стояли, повернувшись ко мне. Старик, который смотрел на воду, теперь смотрел на меня. Подростки подошли ближе, чем следовало, и один держал в руках топор, забыв, что держит.

Все видели.

Что именно они видели, я представляла плохо. С их стороны это выглядело так: знахарка Сигрид взяла нож, вскрыла умирающему грудь, из груди зашипело — и умирающий сел дышать. Ни одного объяснения в их картине мира под это не подходило. Кроме одного.

Пожилая женщина рядом со мной медленно села на пятки. Губы у неё шевелились.

— Хельга, — сказал кто-то из женщин негромко. — Хельга, что она сделала?

Хельга. Запомнила.

— Она выпустила из него смерть, — ответила Хельга.

Ну, в общем, да. Формулировка неточная, механизм описан неверно, но клинически результат тот же. Я решила, что спорить с этим определением не буду ни сегодня, ни, вероятно, никогда.

— Он будет жить? — спросила женщина.

— Если рана не загниёт, — сказала я. — Мне нужен кипяток. Я просила давно.

Кто-то побежал. Наконец-то. Я осталась сидеть на снегу, придерживая повязку, и мысленно раскладывала остальных: восемь на земле, один точно мёртв, ещё двое, судя по позам, тоже, у одного плечо и много крови на снегу — это следующий, у кого-то нога вывернута под неправильным углом, это подождёт, это вообще может ждать сутки. Работы на всю ночь, если мне дадут воду, свет и людей, которые будут делать что говорят, а не то что положено делать в подобных случаях по мнению своей покойной бабушки.

Спина ныла в незнакомом месте. Тело было чужое, младше моего лет на шесть и слабее в плечах. Колени промокли насквозь и уже не чувствовались.

Я подняла голову, чтобы найти взглядом того, с плечом, — и увидела его. Он стоял в проёме между двумя длинными домами, там, где дым от горящей крыши прижимало к земле, и потому он был как в мутной воде. Огромный. Не высокий, а именно огромный, с той шириной кости, при которой человек занимает больше места, чем ему по природе положено. Рыжеватые волосы слиплись от крови, чужой или своей — по цвету не разберёшь. Руки опущены, в правой топор, и топор он держал так, как держат забытую вещь.

По левому плечу и по боку у него шли три тёмных потёка, и с локтя на снег капало.

Он не двигался. И он не смотрел на человека, которого я только что вскрыла ножом, — на такое смотрят все, всегда, это сильнее любого воспитания.

Он смотрел на мои руки.

Глава 2. Пациенты

Кипяток принесли через четверть часа, и это была первая победа за день.

Ведро было чугунное, тяжёлое, вода в нём ещё колыхалась и парила. Тащила его девчонка лет четырнадцати, тонкая, с красными от холода запястьями, и по дороге расплескала треть, и очень боялась, что за это будет.

— Хорошо, — сказала я. — Ставь. Теперь носи второе. И потом ещё, и не останавливайся до темноты.

Она посмотрела на меня так, как смотрят на человека, который сказал глупость слишком уверенным тоном. Я и правда сказала глупость с их точки зрения. Вода в этих местах — это либо питьё, либо варево, и на неё тратят дрова, а дрова зимой считают поштучно.

— Иди, — сказала Хельга у меня за плечом.

Девчонка ушла бегом. Хельга села на корточки напротив меня, по другую сторону от Гуннара — так звали того, кого я вскрыла. Имя мне сказали трижды, разные люди, с разной интонацией, и я поняла, что Гуннар в этой деревне человек известный.

— Ты просишь воду, — сказала Хельга. — Много воды. Зачем?

Затем, что каждая вторая смерть здесь наступает не в момент удара, а через пять дней после него, в тепле и на соломе, от того, что в рану попало то, чего никто не видит и во что никто не верит. Затем, что я не могу дать им ни одного нормального средства, у меня нет ничего, кроме кипятка, чистой ткани и собственных рук, и я собираюсь выжать из этих трёх вещей всё, что они могут дать.

Всё это я в уме сформулировала за секунду и вслух не сказала ни слова из этого.

— Грязь в ране убивает медленно, — сказала я. — Медленнее, чем меч. Поэтому её не бояться. Зря.

— Мы промываем пивом.

— Пиво тоже пойдёт. Крепкое, не свежее. Но сначала кипяток и чистое полотно.

Хельга подумала.

— Раньше ты говорила иначе.

Вот оно. Первая мина, и я на неё наступила на пятнадцатой минуте знакомства.

— Раньше я много чего говорила, — ответила я и занялась завязками на плече Гуннара, чтобы не смотреть ей в лицо.

Легенду надо было строить прямо сейчас, из подручного материала, и материал у меня был ровно один: эта женщина уже сказала при всех, что я выпустила из человека смерть. Люди объясняют себе непонятное первым объяснением, которое им дали. Я решила его не трогать. Дальше проверю, что тут вообще принято считать нормальным, и подгоню себя под это, насколько смогу.

— Мне снилось, — сказала я. — Пока я болела. Мне показали, как правильно.

Хельга ничего не ответила. Дым от крыши шёл теперь ровнее, огонь внутри дома дожил последнее. Небо над фьордом было плоское, серо-белое, без единого просвета, и по такому небу невозможно понять, сколько сейчас времени. По ощущениям — раннее утро, но ощущения у меня были от человека, который четыре часа назад завтракал в аэропорту.

Я взяла нож, ополоснула его в кипятке, подержала в воде дольше, чем требовалось для вида, и пошла работать.

Раненых было восемь.

Двое умерли, пока я занималась Гуннаром, — те самые, чьи позы мне не понравились издали. Одного я даже осмотрела: рубленая рана бедра, кровь ушла в снег широким чёрным веером, и веер этот был размером с половину стола. Артерия. Тут не помогло бы ничего, кроме

жгута в первые две минуты, а жгута в этой деревне никто не наложил, потому что никто не знает, что так можно.

Научу.

Осталось шестеро.

Первым я взяла плечо — мужика лет сорока по имени Стейн, с рассечённой дельтовидной. Рана широкая, но чистая, кость цела, сосуды не задеты. Я промыла её кипячёной водой, остывшей до терпимой, потом крепким пивом, потом снова водой, и всё это время он матерился, и это тоже было понятно без словаря.

— Шить будем, — сказала я.

— Чем?

— Тем, чем вы чините паруса.

Хельга принесла мне иглу и нить из сухожилия. Игла была толстая, кривая, для кожи и парусины, но конец у неё оказался неожиданно приличный. Я прокипятила и то и другое, положила на чистое полотно, и стала шить.

Стейн орал.

Он не орал, когда его рубили. Он не орал, когда я лила ему в рану пиво. Он заорал, когда игла вошла в кожу, и орал он с той чистой, беспримесной обидой, с какой орут дети.

Викинги не боятся смерти. Иглы — боятся. Профессиональное наблюдение.

Шов вышел ровный, восемь стежков, узлы по краям. Я оставила в нижнем углу открытое место, чтобы было куда уходить сукровице, — если зашить наглухо, через три дня получишь мешок с гноем и мёртвого мужика на пятый.

— Всё, — сказала я. — Не мочи, не расчёсывай, не прикладывай навоз.

Он посмотрел на меня как на сумасшедшую. Хельга посмотрела на меня иначе.

— Никто не прикладывает навоз, — сказала она.

— Прикладывают. Не тебе говорю, ему говорю.

Стейн отвёл глаза. Второй, третий, четвёртый пошли легче: резаная кисть, рубленое предплечье, сломанное предплечье со смещением, которое я вправила, пока его держали двое, и зашинировала двумя дощечками от расколотого весла. Я работала руками Сигрид и постепенно к ним привыкала. Пальцы были короче моих и хуже слушались на мелких движениях, зато хватка оказалась крепче: эта женщина всю жизнь что-то толкла, мяла и выжимала.

Люди подходили и смотрели. Сначала стояли далеко. Потом ближе. Потом стали подавать: полотно, воду, чей-то нож, чей-то пояс. Никто мне не помогал по-настоящему, кроме Хельги, но никто и не мешал, а в первый день это уже много.

Кроме одного человека. Хускарл, широкий, в кольчуге, с седеющей бородой и лицом, на котором навсегда застыло выражение брезгливого терпения. Он подошёл, когда я вправляла предплечье, постоял, посмотрел, как я двумя пальцами прощупываю кость через кожу, и сплюнул в снег.

— Она их портит, — сказал он в пространство.

Никто ему не ответил.

— Халвдан, — сказала Хельга ровно.

— Раненого надо оставить в покое и дать ему решить самому. Или он встанет, или нет. Так было всегда.

— Так у вас и умирает половина, — сказала я, не поднимая головы.

Тишина стала другого качества. Я поняла, что ляпнула лишнее, примерно через полторы секунды после того, как ляпнула. У меня так всю жизнь.

Халвдан ушёл, не сказав больше ничего, и это было хуже, чем если бы он начал спорить.

Пятым был Асмунд.

Я оставила его на потом сознательно и знала, зачем. Молодой, лет двадцати пяти, светлый, с редкой бородой, лежал в доме на лавке, накрытый двумя шкурами, и когда я откинула шкуры, женщина рядом с ним вскрикнула.

Рана в животе, слева, ниже пупка. Колотая, длинная. Из неё уже не текло.

Я вымыла руки — в третий раз за час, и на меня опять посмотрели, — и стала осматривать. Живот твёрдый, как доска. Он не даёт коснуться, и это не защита, это уже перитонеальное раздражение. Пульс частый, нитевидный. Кожа влажная и холодная. Дыхание поверхностное. Температуры ещё нет, будет к вечеру.

Кишечник вскрыт. Содержимое в брюшной полости. Дальше по учебнику: лапаротомия, ревизия, ушивание, промывание, дренаж, антибиотики широкого спектра.

У меня из этого списка есть промывание. Всё остальное — фантазия.

Я могла бы вскрыть ему живот здесь, на лавке, при свете масляной плошки, без обезболивания, без ассистента, без зажимов, без шовного материала тоньше парусной нити. Он умер бы у меня под руками через полчаса вместо того, чтобы умереть к утру. И это была бы уже моя смерть, не его.

Я опустила на край лавки. Самое трудное в моей профессии никогда не было связано с руками.

— Как его зовут? — спросила я у женщины.

— Асмунд. Это мой брат.

— Он умрёт, — сказала я. — Сегодня к ночи или завтра утром.

Женщина смотрела на меня, и до неё доходило медленно, слоями.

— Ты не смотрела его.

— Я смотрела.

— Ты даже не тронула рану!

— Мне не нужно её трогать. У него разорвано внутри, и то, что должно быть внутри кишок, вышло наружу и разлилось по животу. Я не могу это убрать. Никто не может.

— Сигрид! — Она встала. — Ты выпустила смерть из Гуннара! Все видели! Ты можешь!

И вот тут я поняла, что легенда, которую я не стала трогать полтора часа назад, уже работает против меня, и работать против меня она теперь будет всегда.

— Гуннару мешал воздух, — сказала я. — Воздух я выпустить могу. Это, — я показала на живот Асмунда, — я выпустить не могу. Дайте ему воды, если попросит. Немного. И побудьте рядом.

— Ты просто не хочешь.

— Я не хочу, — согласилась я. — Не хочу, чтобы он умер. Это ничего не меняет.

Пришли трое мужчин. Пришёл Халвдан. Пришёл седой человек с посохом, который бормотал, водил над Асмундом руками и жёг какую-то траву, и я не мешала: пусть, хуже уже не будет, а сестре легче. Асмунда напоили горячим отваром, потому что «надо гнать жар», хотя жара ещё не было. Потом решили отнести его к тёплой стене, где лежат воины, чтобы он был среди своих. Вот это единственное было правильно, только они и сами не знали почему.

Меня к нему больше не звали.

Я вернулась к остальным и до темноты обошла всех, кого зашила, проверила повязки, дважды переложила шину и ещё раз объяснила Хельге про воду. Про воду я объясняла четыре раза за день и понимала, что придётся объяснять ещё сорок.

Ульф пришёл, когда начало темнеть. Я не сразу заметила, откуда он взялся, — просто в какой-то момент подняла голову от лавки Гуннара, и он уже стоял у столба, в трёх шагах, и, судя по тому, что никто в доме не удивился, стоял довольно давно.

Днём, на свету, он выглядел ещё больше, чем в дыму. Кровь с него смыли, волосы он собрал в узел на затылке, и стало видно лицо: тяжёлая нижняя челюсть, перебитый когда-то нос, глаза очень светлые, серо-стеклянные, из тех, которые на любом освещении кажутся

пустыми. Через левую бровь и вниз, к скуле, шёл старый шрам, аккуратный, заживший белой ниткой.

Три раны на плече и боку никуда не делись. Он их даже не перевязал. Просто натянул поверх рубаху, и рубаха в двух местах присохла.

— Тебе нужно сесть, — сказала я. — Это займёт немного времени.

Он не двинулся.

Я подождала. Люди обычно не выдерживают паузу и начинают говорить. Он выдержал спокойно, как выдерживают камни.

В доме было тихо. Пахло дымом, влажной шерстью, кровью и подгоревшим зерном. Гуннар спал на боку под моей повязкой и дышал ровно, обеими половинами груди, и я слушала это дыхание с удовольствием, которого никому не могла бы объяснить.

— Ты не боишься, — сказал Ульф.

Голос у него оказался ниже, чем я думала, и тише.

— Тебя?

Он не ответил.

— У тебя кровь на боку идёт третьи сутки, — сказала я. — Мне интереснее это.

Он развернулся и вышел. Я посмотрела ему вслед, потом на Хельгу. Хельга сидела у огня и мяла в ступке какие-то сухие листья, и лицо у неё было такое, словно она только что выиграла спор, в котором не участвовала.

— Он не ходит к знахаркам, — сказала она.

— Тогда он придёт послезавтра, и я буду вырезать из него всё, что успеет загнить.

— Он не ходит к знахаркам, — повторила Хельга. — А сегодня стоял здесь половину вечера.

Асмунд умер около полуночи. Я узнала об этом по звуку: в дальнем доме заголосили, сначала одна женщина, потом несколько. Голосили правильно, длинно, на одной ноте, — у них это было отработано веками, как у нас отработана панихида.

Я вышла на воздух. Снаружи стоял мороз, и небо расчистилось. Над фьордом висели звёзды, крупные, чужие, и в чёрной воде отражались так же крупно. Скалы по обе стороны залива были только чернотой без деталей, и между ними лежала вода, до того гладкая, что казалась льдом. Горелые балки ещё дышали теплом и потрескивали. Где-то далеко, в горах, коротко пролаяла лиса.

Я стояла и считала.

Восемь раненых. Двое умерли до того, как я до них дошла. Один — потому что я не бог. Пятеро живы, и четверо из них будут жить, если раны не загниют, а вот загниют они или нет — это решится через три дня, и решать буду не я, а то, чего здесь никто не видит.

По моим меркам — плохой день. Очень плохой. Три трупа, из них два предотвратимых.

По их меркам — я, кажется, только что сделала что-то невозможное.

Дверь скрипнула. Хельга вышла, накинув на плечи шкуру, и встала рядом, глядя на воду. От неё пахло травами и дымом.

— Ты сказала, что он умрёт к ночи, — сказала она. — Он умер к ночи.

— Я бы предпочла ошибиться.

— Все слышали, как ты сказала. И как Гуннар дышит, тоже все слышат. — Она помолчала. — Завтра тебя позовут к другим. К тем, кто не ранен. К больным. Будь готова.

— Хорошо.

Хельга повернулась ко мне. В темноте её лица почти не было видно, только светлое пятно и блеск глаз, но голос у неё изменился, стал ниже и суше, и в нём пропало всё то деревенское, что было днём.

— Сигрид боялась крови, — сказала она. — Всю жизнь. Она отворачивалась, когда резали свинью. Она не могла вправить палец. Я знала её с того дня, когда её принесли из дома

матери, и я мыла её мать перед погребением, и я знаю, как Сигрид держит нож, как она заплетает косу и с какой ноги она встаёт.

Я молчала.

— Ты не Сигрид, — сказала Хельга.

Глава 3. Хельга

— Ты не Сигрид, — сказала Хельга.

Я перебрала в уме три ответа и все три забраковала. Отрицать бесполезно: эта женщина знает тело, в котором я хожу, лучше, чем я. Придумывать сложное — глупо, сложное разваливается на второй день. Оставалось третье, самое неприятное, к которому я обычно прихожу только когда всё остальное закончилось.

— Нет, — сказала я. — Не Сигрид.

Фьорд внизу лежал чёрный и неподвижный. Где-то у воды скрипело — то ли снасть, то ли дерево на морозе.

— Кто?

— Женщина, которая лечила людей. Далеко отсюда. Очень далеко, дальше, чем ты можешь себе представить, и я не смогу тебе объяснить, потому что сама не понимаю. Я умерла. Потом открыла глаза здесь, на снегу, и уже была ею.

— А Сигрид?

Вот на этом месте я запнулась по-настоящему. Я о ней почти не думала за весь день. Некогда было. И это, если честно, тоже профессиональное: думать о том, кто уже мёртв, когда рядом ещё живые, — роскошь, которую откладываешь на потом, а потом обычно не наступает.

— Не знаю, — сказала я. — Когда я пришла, её здесь уже не было.

Хельга долго молчала. Дышала она тяжело, с присвистом на выдохе, и я машинально отметила это и убрала в память, туда, где у меня лежат чужие симптомы.

— Она болела семь дней, — сказала Хельга наконец. — Мы думали, простуда. Потом она перестала вставать. Потом перестала узнавать меня. На восьмой день пришли корабли Торкеля, и я оставила её одну в доме, потому что надо было прятать детей. Когда я вернулась, она лежала на снегу за домом, шагах в тридцати. Не знаю, как она туда вышла. Не знаю, зачем.

— Крови не было?

— Нет.

— Синяков на шее? Пены у рта? Как она лежала — свернувшись или прямо?

Хельга посмотрела на меня, и я услышала себя со стороны и поняла, что задаю вопросы тем самым голосом, каким их задают над телом.

— Прямо, — сказала Хельга медленно. — Руки вдоль. Лицо спокойное.

Значит, не судороги. И не удушение. Семь дней болезни, спутанность сознания, потом смерть — это могло быть чем угодно, от воспаления мозговых оболочек до сепсиса из неизвестного очага. А могло быть и не чем угодно.

Я решила подумать об этом позже.

— Хельга, — сказала я. — Ты можешь пойти к ярлу и рассказать всё, что сейчас узнала. Скорее всего, меня убьют. Я не смогу тебя остановить.

— Знаю.

— И?

Она поправила шкуру на плечах.

— Гуннар дышит, — сказала она. — Стейн зашит, и рана у него чистая. Мальчику Хравну ты вправила руку, и он к весне будет грести. Асмунд умер, и ты сказала об этом раньше всех, а значит, ты не врешь ни им, ни себе. — Она помолчала. — Боги забрали Сигрид, которая боялась крови, и оставили нам женщину, которая не боится. За две ночи до того, как Торкель вернётся. Я старая, но не глупая.

— Он вернётся?

— Он всегда возвращается. — Хельга повернулась к дому. — Идём. Ты не спала.

— Хельга.

Она остановилась.

— Мне понадобится, чтобы ты объясняла за меня, — сказала я. — Я не знаю ваших слов. Я буду говорить неправильные вещи. Каждый раз, когда я скажу неправильное, тебе придётся сказать, что так велели боги.

— Это ложь.

— Да.

Хельга подумала.

— Половина того, что я говорила людям за сорок лет, была ложь, — сказала она. — И половина из этого им помогла. Идём спать.

Меня разбудили до света. Спала я, судя по всему, часа три и проснулась с ощущением, что меня били. Тело Сигрид оказалось не приспособлено к моим суткам: болели поясница, шея, кисти и — отдельно и подробно — колени, которые вчера полдня стояли в снегу.

За дверью стояли люди. Не двое и не трое. Человек двенадцать, в темноте, молча, в очереди, и в этой очереди были не раненые.

— Я тебе говорила, — сказала Хельга.

Дальше был день, которого я не ожидала и к которому оказалась не готова.

Женщина с трёхлетним ребёнком, у которого третью неделю не проходит кашель: дыхание жёсткое, хрипов нет, жара нет, ребёнок бегают и ест. Ничего не делать, тёплое питьё, пар над горячей водой, не кутать. Женщина осталась недовольна — она шла за амулетом.

Старик с болью в ноге, которая усиливается при ходьбе и проходит, если постоять: у него забиты сосуды, и с этим я не сделаю здесь ничего вообще. Сказала ходить понемногу и часто, не мёрзнуть, беречь пальцы.

Мужик с зубом. Зуб чёрный, десна вздута, щека горячая. Тут я могла помочь, и помощь состояла в том, чтобы вскрыть гнойник и выдернуть зуб щипцами, которых у меня не было. Нашлись кузнечные. Мужик держался прилично — во всяком случае, лучше, чем Стейн вчера.

Беременная. Срок примерно тридцать недель, отёки на лице и руках, головная боль, мелькание перед глазами. Вот тут у меня внутри всё встало.

Через неделю или через день у неё начнутся судороги, и она умрёт, и ребёнок вместе с ней. Помогают только роды, а тридцать недель для этого мира — мёртвый ребёнок, и это в лучшем случае.

Я велела ей лежать. Меньше соли. Никакой тяжести. Приходить каждый день. Больше я не могла ничего, и это было отвратительное ощущение, знакомое до тошноты: стоишь рядом с человеком, знаешь, что с ним, знаешь, чем кончится, знаешь порядок действий — и у тебя нет ни одного пункта из этого порядка.

К полудню очередь не кончилась, а стала длиннее. Ко мне шли с бородавками, с бесплодием, с дурными снами, с коровой, которая не даёт молока. Хельга отсекала, что могла. Половину она отсекала сама, ещё до меня, вводила куда-то в глубь дома, и оттуда я слышала, как она раздаёт травы и очень уверенно врёт.

Одна женщина дошла до меня в обход Хельги — молодая, с распухшим лицом, с двумя следами пальцев на скуле. Сказала, что упала.

Я промыла ссадину и не стала спрашивать. Здесь я не знала правил, а лезть, не зная правил, — это гарантированно сделать человеку хуже. Занесла в память. Потом.

Ульф пришёл затемно. Опять бесшумно, опять непонятно откуда, и в этот раз он сел.

Просто вошёл, прошёл к лавке у огня, сел на неё и стал стягивать рубаху. Молча, сосредоточенно, как человек, который решил вопрос где-то у себя внутри несколько часов назад и теперь просто выполняет решение.

Рубаху пришлось отмачивать. Ткань присохла к двум ранам из трёх, и я лила на неё тёплую воду, пока она не отошла.

Первая: касательная по левому плечу, длинная, поверхностная, края разошлись. Ерунда, два стежка. Вторая: под лопаткой, короткая, глубокая, идёт вниз, кровь давно свернулась. Тоже терпимо.

Третья была под нижним ребром слева. Я посмотрела на неё и посмотрела на него.

— Когда?

— Три дня.

— Три дня назад, — повторила я. — Ты ходишь три дня с проколом в боку и не сказал никому.

— Было некогда.

Дальше он не объяснял. У большинства людей после такого короткого ответа наступает потребность оправдаться, и они начинают говорить, и говорят долго. Он не начал.

Я промыла рану и стала смотреть. Канал шёл вверх и внутрь. Живот мягкий, при нажатии не каменеет, рёберная дуга цела. Дышит нормально, обеими сторонами, цвет лица человеческий. Крови в моче, по его словам, нет — этот вопрос я задала, и он ответил на него так же ровно, как отвечал на всё остальное. Значит, селезёнку либо не задело, либо задело по касательной и обошлось. Пока обошлось.

Края раны были горячие, чуть припухшие, и из глубины при нажатии вышло немного мутного.

— Ты понимаешь, что мог умереть за эти три дня? — спросила я. — Не от меча. Просто лечь и не встать.

— Не умер.

— Это не аргумент.

Он посмотрел на меня. Светлые глаза при огне стали жёлтыми, как у зверя, и вот тут я впервые за два дня почувствовала что-то похожее на осторожность.

— Ты злишься, — сказал он.

— Я не злюсь. Я объясняю. — Я взяла нож. — Будет неприятно. Мне нужно раскрыть её шире и промыть внутри, иначе она закроется сверху и загниёт снизу.

Он положил руки на колени. Это заняло минут двадцать. Я расширила рану, вымыла её кипячёной водой, потом крепким пивом, потом снова водой, вставила в глубину полоску чистого полотна, чтобы края не слиплись, и зашила две другие. Он не шевелился и не издал ни звука. Пульс я проверила дважды, пальцами на шее, и оба раза он был около шестидесяти. У человека, которому вымывают рану под ребром без единой капли того, что снимает боль.

Берсерк не чувствует боли в бою. На практике это значит, что он приходит с тремя незамеченными ранами и искренне удивлён, что кровит.

— Голова болит? — спросила я, завязывая последний узел.

Он замер.

— Что?

— После боя. Голова болит, шум, свет режет глаза? Помнишь всё или кусками?

Долгая пауза. За стеной трещало в очаге, кто-то во сне забормотал.

— Кусками, — сказал он.

— Сколько это длится?

— День. Иногда два.

— Тошнит?

— Иногда.

Я кивнула и не стала объяснять, что услышала. У меня в голове уже складывалась картинка, и картинка была нехорошая: повторные удары по голове, годами, без единого дня нормального восстановления. Плюс то состояние, в которое он входит и которое я пока видела только с чужих слов.

— В следующий раз приходишь в тот же день, — сказала я. — Не через три.

— Зачем?

— Затем, что мне проще зашить тебя, чем потом объяснять деревне, почему их берсерк умер от царапины.

Он натянул рубаху через голову, поморщился на движении и встал. У двери остановился.

— Ты правда не боишься, — сказал он. Не вопрос.

— Нет.

— Почему?

Я подумала.

— Потому что ты сидел двадцать минут неподвижно, пока я резала тебя ножом, — сказала я. — Люди, которые так умеют, обычно не бросаются без причины.

Он ничего не ответил и вышел. Хельга, которая всё это время была в доме и делала вид, что перебирает травы, поставила ступку на стол громче, чем требовалось.

— Скажи это ещё кому-нибудь в деревне, — сказала она. — Хоть кому.

— Что именно?

— Что ты его не боишься.

Я не успела спросить зачем. Снаружи, от воды, ударил рог.

Один длинный звук, потом два коротких. Я не знала сигналов, но Хельга дёрнулась и уронила ступку, и по этому всё стало понятно быстрее любого словаря.

Деревня просыпалась мгновенно. Хлопали двери, кто-то бежал, кто-то тащил детей внутрь, лаяли собаки. Между домами замелькали факелы. Я вышла и пошла к берегу вместе со всеми, потому что стоять в доме и не знать было хуже.

Корабль был один.

Он стоял у самой кромки — длинный, чёрный, с задранном носом, и на носу горел фонарь. Вёсла подняты. С борта на снег сошли трое, и один шёл впереди, без шлема, с непокрытой головой, и держал руки на виду.

Люди расступались. Из толпы вперёд вышли двое: Халвдан и молодой мужчина в хорошем плаще, с золотым обручем на шее, лет двадцати пяти, с лицом человека, который очень старается выглядеть старше. Ярл Сигурд, поняла я.

Ульф встал слева, в двух шагах от меня, и я даже не заметила, когда он там оказался.

Гонец остановился, не доходя.

— Я говорю словами ярла Торкеля, — сказал он громко, на всю пристань. — Ярл Торкель говорит: он взял то, что взял, и это была малость. Он говорит: до полной луны вы отдадите ему серебро, скот и половину зерна, и он оставит вам жизнь и это место. — Гонец сделал паузу и добавил уже без всякого выражения, как читают заученное: — Если до полной луны серебра не будет, он придёт со всеми кораблями. И тогда здесь не останется ни домов, ни имён.

Тишина стояла такая, что было слышно, как о борт корабля плещет вода.

— И ещё, — сказал гонец. — Ярл Торкель слышал, что в этой деревне появилась женщина, которая выпускает из людей смерть. Он велел на неё посмотреть.

И поднял фонарь.

Глава 4. Тинг

Фонарь он поднял высоко, на вытянутой руке, и свет пошёл по лицам — по Халвдану, по ярлу, по женщинам за их спинами — и остановился на мне.

Я стояла и смотрела в ответ. Ничего умнее в тот момент придумать было нельзя. Отвернуться — значит признать, что боишься; шагнуть назад — то же самое; сказать что-нибудь — ещё хуже, потому что я не знала, чего здесь стоит слово женщины при чужих. Поэтому я просто стояла, дала себя рассмотреть и в свою очередь рассматривала гонца.

Ему было лет сорок. Хорошо кормлен, кожа чистая, зубы, судя по всему, целы — по местным меркам это уже сообщение: у Торкеля люди сыты. Левое веко чуть опущено, старый рубец у виска. Дышал он спокойно, руки держал открыто.

— Она? — спросил гонец, не оборачиваясь к ярлу.

— Она, — сказал кто-то из толпы.

Гонец рассматривал меня ещё несколько секунд, потом опустил фонарь.

— Худая, — сказал он. — И молодая. Я передам.

Ульф слева от меня переступил с ноги на ногу. Ничего больше — просто перенёс вес. Но гонец скользнул по нему глазами, и что-то в его лице изменилось, и он стал говорить быстрее.

— До полной луны, — повторил он. — Двенадцать ночей.

И они ушли на корабль, и корабль отвалил в темноту, и вёсла ударили по воде ровно, в один такт, — их было тридцать пар, я посчитала, потому что считать легче, чем думать.

Тинг назначили на утро.

Ночь я не спала снова. Ходила по домам и делала то, что вообще-то надо было сделать в первый день, если бы у меня был первый день: пересчитывала.

В горячей точке первое, что ты узнаёшь, приняв точку под себя, — сколько у тебя коек, сколько крови, сколько рук. Не сколько врагов. Врагов ты всё равно не контролируешь.

Здесь у меня не было ни коек, ни крови, ни рук, поэтому я считала людей.

Двор за двором, дом за домом, с Хельгой, которая шла впереди и объясняла, зачем мы пришли, а объясняла она примерно так: «Она смотрит, кого боги оставили целым». Формулировка была вольная, зато никто не спорил.

К рассвету у меня получилось следующее. Мужчин, способных стоять в строю прямо сейчас: одиннадцать. Из них двое старше пятидесяти, один хромает с прошлой зимы, один — Халвдан, и его я записала отдельно, потому что человек, который меня ненавидит, всё равно остаётся боевой единицей.

Раненых, которых можно вернуть в строй: пятеро. Стейн — рука зашита, через неделю сможет держать щит, меч пока нет. Хравн — предплечье в шине, месяц минимум, и это если срослось ровно. Гуннар — тут я не знала. Человек с дырой в груди, которую я четыре дня назад заткнула тряпкой. Ещё двое с рублеными ногами, оба ходячие, оба нагноятся, если я недосмотрю.

Подростков от четырнадцати: девять. Женщин, которые смогут работать в бою — таскать воду, оттаскивать раненых, подавать: около тридцати.

И берсерк. Итого — если очень постараться и если ничего не загниёт — двадцать один боеспособный мужчина через двенадцать дней.

У Торкеля, по словам гонца, «все корабли». Один корабль — тридцать пар вёсел. Даже если у него четыре корабля и половина команды остаётся при судах, это сотня.

Сто на двадцать один. Я сидела на пороге, смотрела на светлеющий фьорд и думала о том, что арифметика — самая честная наука на свете и самая неприятная.

Небо над водой становилось из чёрного зелёным, потом серым. Дальний берег проступал полосами: снег, чёрный лес, снова снег. Над одной из скал уже кружили две птицы, и мне не хотелось знать, что они там нашли.

Тинг собрался на утоптанной площадке между большим домом и берегом, там, где в землю были вкопаны камни по кругу.

Пришли все. Мужчины стояли внутри круга, женщины — снаружи, но близко, и никто их не отгонял. Дети сидели на крышах. Я стояла с Хельгой, с внешней стороны, у самого камня.

Ярл Сигурд сел на широкий чурбак, застеленный шкурой. Плащ у него был дорогой, застёжка золотая, а руки он держал сцепленными и держал их слишком крепко.

Рядом с ним встал старик. Высокий, прямой, с длинной седой бородой, аккуратно расчёсанной надвое. Лицо доброе. Именно это я и отметила первым делом: у него было очень доброе лицо, из тех, к которым тянутся дети и старухи. Он положил ярлу руку на плечо, коротко и по-отечески, и ярл от этого прикосновения заметно расслабился.

— Эрик, — сказала Хельга мне на ухо. — Советник. Он был при отце Сигурда. И при его деде.

Говорили долго. Я слушала внимательно и половину не понимала — не слов, а того, что за словами. Здесь была своя очерёдность: кто говорит первым, кто может перебить, кто должен молчать. Люди вставали, произносили длинные фразы с оборотами, которые явно были формулами, кланялись камню и садились.

Смысл сводился к двум вариантам. Первым говорил Эрик.

Говорил он хорошо. Спокойно, тепло, с паузами, и слушали его лучше, чем ярла. Смысл: серебро есть в казне, зерна хватит до весны с трудом, но хватит, скот жалко, однако скот наживное. Торкель жаден, но он купец в душе, а купец, который однажды взял выкуп, вернётся за вторым, и вот тогда придётся думать. Но это будет через год. А сейчас деревня похоронила семерых и не может позволить себе похоронить ещё сто.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.